

7. Последняя волна

Первая мировая война положила конец эпохе высокого династического правления. К 1922 г. Габсбурги, Гогенцоллерны, Романовы и Оттоманы стали достоянием прошлого. На место Берлинского Конгресса пришла Лига наций, из которой неевропейцы уже не были исключены. Отныне национальное государство стало нормой международного права, так что даже сохранившиеся к тому времени имперские державы вошли в Лигу одетыми в национальные костюмы, а не в имперскую униформу. После катастрофы второй мировой войны волна становления национальных государств переросла в настоящее наводнение. К середине 70-х осталась в прошлом даже Португальская империя.

Новые государства, возникшие после второй мировой войны, имеют свой особый характер, который, тем не менее, нельзя постичь иначе, как через ту последовательность моделей, которую мы рассматривали. Можно подчеркнуть эту преемственность, в частности, напомнив о том, что очень многие из этих наций (главным образом неевропейские) взяли в качестве государственного какой-то европейский язык. Если в этом аспекте проявилось их сходство с «американской» моделью, то из языкового европейского национализма они почерпнули его страстный популизм, а из официального национализма — его «русификаторскую» политическую направленность. Это произошло потому, что американцы и европейцы пережили сложный исторический опыт, который стал повсеместно воспроизводиться воображением, и потому, что европейские государственные языки, которыми они пользовались, были наследием империалистического официального национализма. Поэтому в политике «строительства нации», проводимой новыми государствами, очень часто можно увидеть как подлинный, массовый националистический энтузиазм, так и систематичное, даже макиавеллистски циничное впрыскивание националистической идеологии через средства массовой информации, систему образования, административные предписания и т. д. В свою очередь, эта смесь массового и официального национализма была продуктом аномалий, созданных европейским империализмом: пресловутой произвольности границ и наличия двуязычной интеллигенции, рискованно балансирующей над разнородно-одноязычным населением. Таким образом, многие из этих наций можно рассматривать как проекты, которые пока еще находятся в процессе осуществления, но в то же время такие проекты, которые понимаются, скорее, в духе Мадзини, нежели Уварова.

Когда мы рассматриваем происхождение современного «колониального национализма», сразу бросается в глаза его главное сходство с колониальными национализмами прошлого: изоморфизм между территориальными границами каждого такого национализма и территориальными границами прежней имперской административной единицы. И сходство это вовсе не случайное; оно явно связано с географией колониальных паломничеств. Отличие же состоит в том, что контуры креольских паломничеств XVIII в. определялись не только централизаторскими устремлениями абсолютистских метрополий, но также реальными проблемами коммуникации и транспорта и общей технологической

примитивностью. В XX в. эти проблемы были в основном решены, и им на смену пришла двулика «русификация».

Выше я утверждал, что в конце XVIII в. имперская административная единица стала приобретать национальное значение в какой-то степени потому, что очерчивала границы, в которых происходило восхождение креольских функционеров. В XX в. дело обстояло так же. Ведь даже в тех случаях, когда молодой смуглокожий или чернокожий англичанин получал образование или профессиональную подготовку в метрополии — а проделать такой путь могли лишь очень немногие из его креольских прародителей, — для него это было, как правило, последнее такое бюрократическое путешествие. Отныне высшей точкой его петляющего полета был высший административный центр, в который его могли назначить на должность: Рангун, Аккра, Джорджтаун или Коломбо. Между тем, в каждом таком узко ограниченном путешествии он встречался на своем пути с двуязычными путешествующими компаньонами, с которыми начинал чувствовать все возрастающую общность. В ходе своего путешествия он довольно быстро понимал, что исходная точка, из которой он отправился, будь то в этническом, языковом или географическом ее понимании, почти ничего не значит. В лучшем случае, отсюда он отправлялся в это паломничество, а не в другое, что, однако, не определяло сколь-нибудь существенно ни конечную цель его путешествия, ни его компаньонов. В этом образце берет начало тонкая, наполовину скрытая поэтапная трансформация колониального государства в национальное, ставшая возможной не только благодаря прочной преемственности персонала, но и благодаря установившемуся сплетению путешествий, через призму которого каждое государство переживалось его функционерами[289].

Между тем, с середины XIX в. все более, а в XX в. прежде всего, эти путешествия стали совершаться не просто горсткой путешественников, а огромными и разношерстными толпами. Основных факторов, которые здесь действовали, было три. Во-первых и прежде всего, необычайно возросла физическая мобильность, что стало возможно благодаря удивительным достижениям промышленного капитализма — железным дорогам и пароходам (в прошлом столетии) и автомобильному транспорту и авиации (в нынешнем). Бесконечно долгие путешествия старых Америк стремительно становились достоянием прошлого.

Во-вторых, у имперской «русификации» была как идеологическая сторона, так и практическая. Из самой протяженности глобальных европейских империй и огромной численности подвластных им населений вытекало, что чисто метропольные или даже креольские бюрократии невозможно было ни укомплектовать кадрами, ни профинансировать. Колониальному государству, а позднее и корпоративному капиталу потребовались целые армии чиновников, которым, чтобы быть полезными, нужно было владеть двумя языками, так как им предстояло стать языковыми посредниками между метропольной нацией и колонизированными народами. Потребность эта была тем более настоящей, что с начала века у государства повсюду становилось все больше и больше специализированных функций. Рядом со старым окружным головой появлялись новые фигуры: врач, ирригационный инженер, агроном, школьный учитель, полицейский и т. д. С каждым укрупнением государства росла и толпа его внутренних пилигримов[290].

Третьим фактором было распространение образования современного стиля, осуществляемое не только колониальным государством, но и частными религиозными и светскими организациями. Эта экспансия определялась не одной только целью обеспечить кадрами государственные и корпоративные иерархии, но и растущим признанием моральной значимости современного знания даже для колонизированного населения[291]. (Во многих колониальных государствах уже начинал становиться реальностью феномен образованного безработного.)

Общепризнанно, что главную роль в подъеме национализма в колониальных территориях сыграла интеллигенция, и не в последнюю очередь потому, что стараниями колониализма коренные жители среди аграрных магнатов, крупных торговцев, промышленников и даже в обширном классе профессионалов были относительной редкостью. Почти везде колониалисты либо сами монополизировали экономическую власть, либо неравномерно поделили ее с политически немощным классом отверженных (некоренных) бизнесменов: ливанских, индийских и арабских в колониальной Африке, китайских, индийских и арабских в колониальной Азии. Столь же широко считается, что авангардная роль интеллигенции вытекала из ее двуязычной грамотности, или, скорее, грамотности и двуязычия. Книжная грамотность создавала возможность воображаемого сообщества, плывущего в гомогенном, пустом времени, о котором мы ранее говорили. А двуязычие через европейский государственный язык открывало доступ к современной западной культуре, в предельно широком смысле, и, в частности, к тем моделям национализма, национальности и национального государства, которые были произведены в течение XIX в.[292]

В 1913 г. голландский колониальный режим Батавии по указанию из Гааги организовал в колонии помпезные всенародные торжества, посвященные столетию «национального освобождения» Нидерландов от французского империализма. Были отданы распоряжения обеспечить физическое участие и финансовые пожертвования, причем не только со стороны местных голландских и евразийских сообществ, но и со стороны поработанного коренного населения. В знак протеста один из первых яванско-индонезийских националистов Суварди Сурьянинграт (Ки Хаджар Деванторо) поместил в газете, издаваемой на голландском языке, свою знаменитую статью «Als ik eens Nederlander was» («Если бы я на мгновение стал голландцем»).

“ «По моему мнению, будет неуместно и даже как-то неприлично, если мы (я ведь все-таки в моем воображении голландец) пригласим местных жителей присоединиться к торжеству, посвященному нашей независимости. Во-первых, мы заденем их тонкие чувства, потому что отмечаем нашу независимость здесь, в их родной стране, которую мы поработили. В этот торжественный момент мы очень счастливы оттого, что столетие назад освободились от иностранного господства; но все это происходит на глазах у тех, над кем до сих пор господствуем мы. Разве не приходит нам в голову, что эти бедные рабы тоже с нетерпением ждут такого же момента, как этот, когда они так же, как и мы, смогут отметить свою независимость? Или, может, из-за нашей разрушающей душу

политики мы стали считать все человеческие души мертвыми? Если мы и впрямь так считаем, то мы обманываем самих себя, ибо сколь бы примитивным ни было сообщество, оно возражает против любого типа угнетения. Будь я голландцем, я не стал бы устраивать торжества по случаю независимости в стране, где независимость у народа была украдена»[293].

Этими словами Суварди сумел обратить голландскую историю против самих голландцев, выставив на всеобщее обозрение сварной шов, соединяющий голландский национализм с империализмом. Кроме того, своим мнимым превращением в тогдашнего голландца (приглашающим голландских читателей превратиться в ответ в тогдашних индонезийцев) он подорвал все расистские фатальности, лежавшие в основе голландской колониальной идеологии[294].

Залп критики со стороны Суварди — доставивший его индонезийской аудитории столько же удовольствия, сколько голландской раздражения — служит показательным примером всемирного явления, характерного для XX в. Ведь парадокс имперского официального национализма как раз в том и состоял, что он неизбежно внедрял в сознание колонизированных то, о чем все больше мыслили и писали как о европейских «национальных историях», причем делал это не только через случайные бестолковые празднества, но и через лекционные залы и школьные аудитории[295]. Вьетнамская молодежь не могла избежать изучения *philosophes*, Революции и того, что Дебре называет «нашим извечным антагонизмом с Германией»[296]. В школы на просторах всей Британской империи проникли «Великая хартия вольностей», «Прародительница парламентов» и «Славная Революция», толкуемые как английская национальная история. Борьба Бельгии за независимость от Голландии не могла пройти мимо школьных учебников, которые в один прекрасный день прочли конголезские дети. Так же обстояло дело с историей США на Филиппинах и, наконец, с португальской историей в Мозамбике и Анголе. Ирония тут, разумеется, в том, что эти истории писались исходя из историографического сознания, которое к началу XX в. по всей Европе стало определяться в национальных категориях. (Бароны, навязавшие Иоанну Плантагенету Великую хартию, не говорили «по-английски» и не мыслили себя «англичанами», но 700 лет спустя в школьных классах Соединенного Королевства были незыблемо определены как первые патриоты.)

Между тем, у националистической интеллигенции, которая рождалась в колониях, есть одна характерная черта, в некоторой степени отличающая ее от вернакуляризирующих националистических интеллигенций Европы XIX в. Они почти всегда были молодыми и придавали своей молодости сложную политическую значимость. Эта значимость, хотя и изменилась со временем, остается важной по сей день. Рождение (современного/организованного) бирманского национализма часто датируется созданием в Рангуне в 1908 г. Буддистской ассоциации молодежи, а малайского — основанием в 1938 г. Кесатуан Мелайю Муда (Союза молодой Малайи). Индонезийцы ежегодно отмечают день Сумпах Пемуда (Клятвы молодежи), которая была составлена и принята в 1928 г. националистическим молодежным конгрессом. И так далее. Правда, Европа в некотором смысле и тут всех опередила, если припомнить «Молодую Ирландию», «Молодую Италию» и

т. д. И в Европе, и в колониях слова «молодой» и «молодость» обозначали динамизм, прогресс, идеализм самопожертвования и революционную волю. Но в Европе слово «молодой» не имело почти никаких определенных социологических контуров. Можно было достигнуть среднего возраста и вместе с тем быть членом «Молодой Ирландии»; можно было быть неграмотным и все-таки принадлежать к «Молодой Италии». Причина была, разумеется, в том, что языком этих национализмов был либо родной разговорный язык, к которому члены этих организаций имели устный доступ еще с колыбели, либо, как в случае Ирландии, язык метрополии, который за многие столетия завоевания пустил в разных сегментах населения настолько глубокие корни, что тоже мог проявить себя, по-креольски, как родной язык. Иначе говоря, между языком, возрастом, классом и статусом не было никакой необходимой связи.

В колониях дело обстояло совершенно иначе. Под молодежью имелось в виду прежде всего первое поколение людей, многие представители которого получили европейское образование, отличающее их в языковом и культурном отношении от поколения их родителей, а также от огромной массы их колонизированных сверстников (сравните со случаем Б. Ч. Пала). Бирманская «англоязычная» организация БСМЛ (Бирманский союз молодых людей), смоделированная отчасти по образцу Христианского союза молодых людей (YMCA), была создана школьниками, читавшими по-английски. В Нидерландской Индии мы находим, среди прочего, Jong Java (Молодую Яву), Jong Ambon (Молодую Амбоину) и Jong Islamietenbond (Лигу молодых мусульман) — названия, непонятные всякому молодому местному жителю, не знакомому с колониальным языком. В колониях, стало быть, под «Молодежью» мы имеем в виду «Образованную Молодежь», по крайней мере вначале. Это, в свою очередь, еще раз напоминает нам о той уникальной роли, которую сыграли в развитии колониальных национализмов колониальные системы школьного образования[297].

Случай Индонезии дает нам удивительно тонкую иллюстрацию этого процесса, не в последнюю очередь в силу ее необычайно большого размера, огромного населения (даже в колониальные времена), географической раздробленности (около 3 тыс. островов), религиозной пестроты (мусульмане, буддисты, католики, различного рода протестанты, балийцы-индуисты и «анимисты») и этноязыкового разнообразия (свыше 100 обособленных групп). Кроме того, как можно увидеть из ее гибридного псевдогреческого названия, ее территориальная протяженность даже отдаленно не соответствует какой бы то ни было доколониальной области; напротив, по крайней мере до жестокого вторжения генерала Сухарто в 1975 г. в бывший португальский Восточный Тимор ее границы оставались теми же, которые были оставлены ей в наследство последними голландскими завоеваниями (1910).

Некоторые народы, живущие на восточном побережье Суматры, не только близки по физическим характеристикам к живущим по ту сторону узкого Малаккского пролива народностям западного побережья Малайского полуострова, но и связаны с ними этнически: они понимают речь друг друга, имеют общую религию и т. д. Эти же самые жители Суматры не имеют ни общего родного языка, ни общей этничности, ни общей религии с амбонцами, живущими на островах, расположенных в тысячах миль восточнее. Тем не менее, в течение этого столетия они стали воспринимать амбонцев как братьев-индонезийцев, а малайцев — как иностранцев.

Ничто так не способствовало этому соединению, как школы, которые с начала нашего века создавались во все большем количестве режимом Батавии. Чтобы увидеть, почему это произошло, необходимо помнить, что — в полную противоположность традиционным, туземным школам, которые всегда были локальными и личными предприятиями (даже если, в добрых мусульманских традициях, происходили массивные горизонтальные перемещения учащихся от одного учителя-уламы, пользующегося особенно хорошей репутацией, к другому), — государственные школы формировали огромную, в высокой степени рационализированную и крайне централизованную иерархию, аналогичную по своей структуре государственной бюрократии. Единообразные учебники, стандартизированные дипломы и сертификаты на право преподавания, строго регламентированная градация возрастных групп[298], классов и педагогических материалов сами по себе создавали самодостаточный, внутренне согласованный мир опыта. Однако не менее важна была география этой иерархии. Стандартизированные начальные школы сосредоточились в деревнях и небольших городах колонии; неполные и полные средние школы — в более крупных городах и провинциальных центрах; а высшее образование (вершина пирамиды) — в границах колониальной столицы Батавии и города Бандунга, построенного голландцами в 100 милях к юго-западу от нее на прохладной Прианганской возвышенности. Таким образом, колониальная школьная система XX в. вызвала к жизни паломничества, аналогичные давно установившимся путешествиям функционеров. Для этих паломничеств Римом, в который вели все дороги, была Батавия: не Сингапур, не Манила, не Рангун и даже не старые столицы Яванского королевства Джокьякарта и Суракарта[299]. Со всех уголков обширной колонии — но ни в коем случае не извне ее — совершали свое внутреннее восхождение юные пилигримы, встречая на своем пути в начальной школе собратьев-паломников из разных (возможно, враждовавших в прошлом) деревень, в средней школе — из разных этноязыковых групп, а в столичных институтах высшего образования — из всех частей государства[300]. И они знали, что откуда бы они ни были родом, все они читали одни и те же книги и решали одни и те же арифметические задачи. Кроме того, они знали, пусть даже не добираясь до конечного пункта — а большинство до него так и не добиралось, — что все дороги ведут в Батавию и что все эти путешествия черпают свой «смысл» в столице, объясняющей в конечном счете, почему «мы» «здесь» «вместе». Иначе говоря, их общий опыт и дружелюбно-сопоставительное товарищество в школьном классе придавали картам колонии, которые они изучали (где она всегда была окрашена иначе, чем британская Малайя или американские Филиппины), территориально конкретную воображаемую реальность, ежедневно подтверждаемую акцентами и физиономиями их одноклассников[301].

Но кто они были все вместе? У голландцев было на этот счет вполне определенное представление: на каком бы родном языке те ни говорили, они непоправимо оставались *inlanders*. Это слово, подобно английскому *natives* и французскому *indigènes*, всегда несло в себе непреднамеренно парадоксальную семантическую нагрузку[302]. В этой, как и любой другой, отдельной колонии оно предполагало, что люди, к которым оно применялось, были одновременно «низшими» и «здешними» (в точности как голландцы, будучи «исконными жителями» Голландии, были «здешними» там). И наоборот, с помощью такого языка голландцы наделяли себя, наряду с превосходством, «нездешностью». Еще это слово предполагало, что *inlanders* в силу своего общего низшего положения были все одинаково достойны презрения, независимо от того, уроженцами какой этноязыковой группы или

класса они были. Тем не менее, даже это жалкое равенство условий было заключено в определенный периметр. Ибо коренной уроженец всегда задавал вопрос: «коренной уроженец чего?» Даже если голландцы иногда и высказывались в том духе, что *inlanders* — категория всемирная, опыт показывал, что на практике такое представление вряд ли способно было закрепиться. Область обитания коренных уроженцев ограничивалась нарисованными на карте очертаниями окрашенной колонии. За этими границами были, в зависимости от обстоятельств, «туземцы», *natives*, *indigènes* или *indios*. Более того, в колониальной правовой терминологии была еще и категория *vreemde oosterlingen* (иноземные жители Востока), окруженная двусмысленным ореолом ложного понятия — как будто бы были «иноземные коренные жители». Такие «иноземные жители Востока», в основном китайцы, арабы и японцы, хотя и могли жить в колонии, имели более высокий политико-правовой статус, чем «исконные коренные жители». Кроме того, крошечная Голландия была достаточно сильно напугана экономической силой и военным мастерством олигархов Мэйдзи, а потому с 1899 г. законодательно присвоила японцам, проживавшим в колонии, звание «почетных европейцев». Из всего этого в процессе исключения белых, голландцев, китайцев, арабов, японцев, *natives*, *indigènes* и *indios* рождался благодаря своего рода осаждению *inlander*, который все более наполнялся конкретным содержанием — пока вдруг не превратился, подобно созревшей гусенице, в великолепную бабочку, именуемую «индонезиец».

Хотя, по правде говоря, понятия *inlander* и *native* никогда не могли по-настоящему стать обобщенными расистскими понятиями, всегда предполагая укорененность в некоторой особой среде обитания[303], случай Индонезии не должен привести нас к выводу, что у каждой такой «исконной» среды обитания были предопределенные или непреложные границы. Два примера покажут нам прямо противоположное: Французская Западная Африка и Французский Индокитай.

В пик своей славы *Ecole Normale William Ponty* в Дакаре, несмотря на то, что была всего лишь обычной средней школой, стала вершиной колониальной образовательной пирамиды Французской Западной Африки[304]. В школу Вильяма Понти съезжались способные ученики из мест, которые мы знаем сегодня как Гвинею, Мали, Берег Слоновой Кости, Сенегал и т. д. А потому нас не должно удивлять, что паломничества этих мальчиков, завершающиеся в Дакаре, были с самого начала истолкованы во француско-[западно]-африканских категориях, незабываемым символом которых стало парадоксальное понятие *négritude* — квинтэссенция африканскости, выражимая лишь во французском языке, языке школьных классов Вильяма Понти. И все же вершинное положение школы Вильяма Понти было случайным и преходящим. По мере того как во Французской Западной Африке строилось все больше средних школ, у одаренных мальчиков отпадала необходимость в совершении такого дальнего паломничества. И уж во всяком случае, образовательная центральность школы Вильяма Понти никогда не сопровождалась сопоставимой административной центральностью Дакара. Взаимозаменяемость француско-западноафриканских мальчиков на ученических скамьях в школе Вильяма Понти не была подкреплена их последующей бюрократической заменимостью во француско-западноафриканской колониальной администрации. Поэтому выпускники школы возвращались домой, чтобы стать там со временем гвинейскими или малийскими националистическими лидерами, в то же время сохраняя «западноафриканское»

товарищество и солидарность, которые оказывались потеряны для последующих поколений[305].

Почти таким же образом и курьезный гибрид «Индокитай» имел для одного поколения сравнительно высокообразованных юношей вполне реальное и переживаемое воображенное значение[306]. Напомним, что это образование было юридически провозглашено лишь в 1887 г., а свою окончательно сложившуюся территориальную форму обрело лишь в 1907 г., хотя активное французское вмешательство в этом регионе началось столетием раньше.

Вообще говоря, образовательная политика, проводимая колониальными правителями «Индокитая», преследовала две основные цели[307]; и обе они, как оказалось, внесли свой вклад в становление «индокитайского» сознания. Первой было разрушение существующих политико-культурных связей между колонизированными народами и соседним внеиндокитайским миром. В случае «Камбоджи» и «Лаоса»[308] мишенью был Сиам, который раньше в том или ином виде осуществлял над ними сюзеренитет и имел с ними общие ритуалы, институты и священный язык буддизма Хиньяны. (Вдобавок к тому, язык и письменность низовых лао были и остаются тесно связанными с языком и письменностью тайцев.) Руководствуясь именно этим интересом, французы впервые провели в этих областях, захваченных у Сиамы последними, эксперимент с так называемыми «обновленными школами при пагодах», призванными перетянуть кхмерских монахов и их учеников из орбиты тайского влияния в орбиту Индокитая[309].

В Восточном Индокитае (как я сокращенно называю «Тонкин», «Аннам» и «Кохинхину») аналогичной мишенью были Китай и китайская цивилизация. Хотя династии, правившие в Ханое и Хюэ, вели многовековую борьбу за независимость от Пекина, правили они все-таки посредством мандарината, скопированного с китайского образца. Вербовка людей в государственную машинерию была поставлена в зависимость от письменных экзаменов на знание конфуцианской классики; династические документы составлялись с помощью китайских иероглифов; вся культура правящего класса была насквозь китаизирована. Эти прочные вековые связи начали приобретать еще более нежелательный характер примерно после 1895 г., когда через северную границу колонии стали проникать сочинения таких китайских реформаторов, как Кан Ювэй и Лян Цичао, и таких националистов, как Сунь Ятсен[310]. Соответственно, в 1915 г. в «Тонкине», а в 1918 г. в «Аннаме» были последовательно отменены конфуцианские экзамены. Отныне вербовка на гражданскую службу в Индокитае стала производиться исключительно через каналы развивающейся французской колониальной системы образования. Кроме того, отныне стало сознательно поощряться *quốc ngữ* (куок-нгы), романизированное фонетическое письмо, изобретенное в XVII в. иезуитскими миссионерами[311] и уже в 60-е годы XIX в. принятое властями для использования в «Кохинхине». Оно призвано было разрушить связи с Китаем, а также, возможно, и с коренным прошлым, сделав недоступными для нового поколения колонизированных вьетнамцев династические хроники и древнюю литературу[312].

Второй целью образовательной политики было производство строго отмеренного числа индокитайцев, умеющих говорить и писать по-французски, которые выполняли бы роль политически надежной, благодарной и окультуренной коренной элиты, заполняя должностные вакансии в низших эшелонах колониальной бюрократии и крупных

коммерческих предприятий[313].

Нам нет нужды вдаваться здесь в тонкости колониальной системы образования. Имея ввиду цели нашего исследования, ключевая особенность этой системы состояла в том, что она формировала единственную, пусть даже и неустойчивую, пирамиду, верхние этажи которой до середины 1930-х годов располагались исключительно на востоке. Например, единственные лицеи, финансируемые государством, находились вплоть до указанного времени в Ханое и Сайгоне; а единственный университет, работавший в Индокитае на протяжении всего довоенного колониального периода, располагался в Ханое, так сказать, «вниз по улице» от дворца генерал-губернатора[314]. В число покорителей этих вершин входили подданные этого французского владения, говорившие на всех основных местных языках: вьетнамском, китайском, кхмерском и лаосском (а также немало проживавших в колонии молодых французов). Для этих покорителей, прибывавших сюда, скажем, из Митхо, Баттамбанга, Вьентьяна и Виня, смыслом их встречи здесь должно было быть превращение в «индокитайцев», подобно тому, как многоязычное и многоэтническое студенчество Батавии и Бандунга должно было увидеть в себе «индонезийцев»[315]. Эта индокитайскость, хотя и была вполне реальна, тем не менее, была воображена небольшой группой, причем воображена ненадолго. Почему она оказалась такой недолговечной, в то время как индонезийскость сохранилась и пустила глубокие корни?

Во-первых, примерно с 1917 г. в колониальном образовании наметилась отчетливая перемена курса, и прежде всего это касается Восточного Индокитае. Реальное, неумолимо надвигающееся упразднение традиционной конфуцианской системы экзаменов все больше убеждало членов вьетнамской элиты в необходимости пристраивать детей в тамошние лучшие французские школы, дабы гарантировать им бюрократическое будущее. Возникшая в итоге конкуренция за места в немногочисленных хороших школах вызвала сильную реакцию среди colons[316], считавших, что эти школы по праву принадлежат прежде всего французам. Для решения этой проблемы колониальный режим создал отдельную подчиненную «франко-вьетнамскую» образовательную структуру, на низших ступенях которой делался особый акцент на преподавании вьетнамского куок-нгы (французский преподавался как второй язык, уже через посредство куок-нгы)[317]. Этот сдвиг в политике привел к двум взаимодополняющим результатам. С одной стороны, издание государством сотен тысяч учебников на куок-нгы значительно ускорило распространение этой изобретенной европейцами системы письма, непроизвольно способствуя ее превращению в период с 1920 по 1945 г. в массовое средство выражения вьетнамской культурной (и национальной) солидарности[318]. Ибо если к концу тридцатых годов грамоте были обучены всего 10 процентов вьетнамоязычного населения, то даже и такая доля была беспрецедентна в истории этого народа. Более того, эти грамотные люди, в отличие от конфуцианских ученых, горячо поддерживали быстрый рост своей численности. (Аналогичным образом, в «Камбодже» и «Лаосе», хотя и в более скромных масштабах, власти приветствовали печатание учебников для начальных классов на местных языках: сначала и главным образом с применением традиционных орфографий, а позднее и уже не так энергично — с применением латинизированных систем письма[319].) С другой стороны, эта политика имела следствием исключение некоренного вьетнамоязычного населения, проживавшего в Восточном Индокитае. В случае «кохинхинских» кхмер-кромцев она, соединившись с готовностью колониального режима разрешить им иметь «франко-

кхмерские» начальные школы наподобие тех, создание которых поощрялось в Протекторате, способствовала переориентации их амбиций в обратном направлении — в сторону Меконга. Таким образом, кхмер-кромские подростки, стремившиеся получить высшее образование в административной столице Индокитая (а немногие избранные — даже в метрополии Франции), все чаще выбирали обходной путь через Пномпень, а не столбовую дорогу через Сайгон.

Во-вторых, в 1935 г. Коллеж Сисоват в Пномпене был превращен в полноценный государственный лицей с таким же статусом, который имели существующие государственные лицеи Сайгона и Ханоя, и идентичной учебной программой. Хотя вначале, по традиции Коллежа, студенты в него набирались главным образом из местных китайско-кхмерских торговых семей и семей проживавших здесь вьетнамских функционеров, доля коренных кхмеров среди них неуклонно возрастала[320]. Вероятно, справедливо будет сказать, что с 1940 г. подавляющее большинство кхмероязычных подростков, получавших солидное французское среднее образование, получали его в опрятной и ухоженной колониальной столице, построенной колониалистами для Нородомов.

В-третьих, в Индокитае не было реального изоморфизма между образовательными и административными паломничествами. Французы, не стесняясь, высказывали мнение, что хотя вьетнамцы не заслуживают доверия и отличаются жадностью, они все-таки заметно энергичнее и умнее «по-детски непосредственных» кхмеров и лаосцев. Соответственно, в Западном Индокитае они широко привлекали на службу вьетнамских функционеров[321]. Из 176000 вьетнамцев, проживавших в 1937 г. в «Камбодже» — которые составляли менее 1 процента 19-миллионного вьетнамоязычного населения колонии, но около 6 процентов всего населения Протектората, — сформировалась относительно преуспевающая группа, для которой, следовательно, Индокитай обладал весьма важным смыслом, так же как и для 50 тыс. вьетнамцев, отправленных до 1945 г. на работу в «Лаос». Они, а в их числе особенно функционеры, которых могли переставлять с места на место во всех пяти подразделениях колонии, вполне могли представить в воображении Индокитай как широкую сцену, на которой могла далее продолжиться их служба.

Гораздо труднее давалось такое воображение лаосским и кхмерским функционерам, хотя формально или законодательно делать всеиндокитайские карьеры им не запрещалось. Даже сравнительно более амбициозные юноши из 326-тысячного (1937) кхмер-кромского сообщества в Восточном Индокитае (которое представляло около 10 процентов всего кхмероязычного населения) сталкивались с тем, что на практике перспективы сделать карьеру за пределами «Камбоджи» были для них крайне ограничены. Таким образом, кхмеры и лао могли сидеть на одной скамье с вьетнамцами во франкоязычных средних и высших учебных заведениях Сайгона и Ханоя, но у них не было никаких шансов получить здесь в дальнейшем административные посты. Подобно юношам из Котону и Абиджана, учившимся в Дакаре, они были обречены возвращаться по окончании учебы в те «дома», границы которых были очерчены для них колониализмом. Иными словами, в то время как их образовательные паломничества влекли их в сторону Ханоя, их административные путешествия заканчивались в Пномпене или во Вьентьяне.

Благодаря этим противоречиям появилась группа кхмероязычных студентов, которых память сохранила впоследствии как первых камбоджийских националистов. Человек, которого можно с полным правом назвать «отцом» кхмерского национализма, Сон Нгок Тхань, был (как видно из его вьетнамизированного имени) кхмер-кромцем, который получил образование в Сайгоне и в течение некоторого времени занимал в этом городе скромную судебную должность. В середине тридцатых он, однако, покинул этот «Париж» меконгской дельты, дабы искать более многообещающего будущего в ее «Блуа». Принц Сисоват Йутевонг учился в средней школе в Сайгоне, прежде чем отправиться на дальнейшую учебу во Францию. Вернувшись через 15 лет, после второй мировой войны, в Пномпень, он принимал участие в создании (Кхмерской) Демократической Партии, а в 1946–1947 гг. занимал пост премьер-министра. Его министр обороны Сонн Воеуннсай совершил практически те же самые путешествия. Хуй Кантхуль, демократический премьер-министр 1951–1952 гг., закончил в 1931 г. *école normale* в Ханое, после чего вернулся в Пномпень, где со временем занял должность преподавателя в Лицее Сисовата[322]. Возможно, наиболее примечательна среди всех фигура Иеу Коеуса, открывшего печальный список злодейски убитых кхмерских политических лидеров[323]. Родившись в провинции Баттамбанг в 1905 г., когда она еще управлялась из Бангкока, он посещал местную «обновленную школу при пагоде», после чего поступил в «индокитайскую» начальную школу в городе Баттамбанге. В 1921 г. он продолжил учебу в Коллеже Сисовата в столице Протектората, а затем — в *college de commerce* в Ханое, который закончил в 1927 г. лучшим в своем франкоязычном классе. Надеясь изучать химию в Бордо, он набрался смелости и сдал вступительные экзамены. Однако колониальное государство перекрыло ему выезд за границу. Он вернулся в родной Баттамбанг, где занялся фармацевтикой и продолжал ею заниматься даже после того, как Бангкок вернул себе в 1941 г. эту провинцию. После военного поражения Японии в августе 1945 г. он вновь появился в «Камбодже», на этот раз в роли демократического парламентария. Заслуживает внимания то, что он был в своем роде прямым потомком выдающихся филологов ранней Европы, ибо изобрел машинописную клавиатуру для кхмерского шрифта и опубликовал увесистый двухтомник «Феаса Кхмаэ» [Кхмерский язык], или, как обманчиво указывается на титульной странице издания 1967 г., «*La langue cambodgienne (Un essai d'étude raison-né)*» [324]. Однако впервые этот текст — сначала только 1-й том — вышел в свет в 1947 г., когда его автор был председателем Конституционного Собрания в Пномпене, а не в 1937 г., когда он прозябал в Баттамбанге, когда Лицей Сисовата еще не создал ни одного кхмероязычного лицея и когда Индокитай еще обладал своей эфемерной реальностью. К 1947 г. носители кхмерского языка — по крайней мере из «Камбоджи» — уже не посещали школьных занятий в Сайгоне и Ханое. На сцену выходило новое поколение, для которого «Индокитай» стал историей, а «Вьетнам» — теперь уже реальной и чужой страной.

Необходимо признать, что жестокие вторжения и завоевания XIX в., под началом правившей в Хюэ династией Нгуенов, оставили горький след в народной памяти кхмеров, в том числе в «Кохинхине», которым суждено было стать частью Вьетнама. Но подобные горькие чувства существовали и в Нидерландской Индии: у сунданцев — к яванцам; у батаков — к минангкабау; у сасаков — к балийцам; у тораджей — к бугам; у яванцев — к амбонцам, и т. д. Так называемая «федералистская политика», проводившаяся в 1945–1948 гг. грозным вице-генерал-губернатором Хубертусом ван Мооком с целью нанесения удара с фланга новорожденной Индонезийской Республике, была попыткой воспользоваться именно этими

горькими чувствами[325]. Однако несмотря на половодье этнических восстаний, захлестнувших в 1950–1964 гг. почти все части независимой Индонезии, «Индонезия» все-таки выжила. Отчасти она выжила потому, что Батавия так до конца и осталась образовательной вершиной, но не только поэтому. В известной степени это произошло потому, что политика колониальной администрации не изгоняла образованных сунданцев обратно в «Сундаленды», а батаков в их родные места, затерянные в горных районах Северной Суматры. Практически все основные этноязыковые группы к концу колониальной эпохи свыклись с мыслью о том, что есть сцена, охватывающая весь архипелаг, на которой для них предусмотрены определенные роли. А потому из восстаний 1950–1964 гг. только одно имело сепаратистские амбиции; все остальные имели состязательный характер и укладывались в рамки единой индонезийской политической системы[326].

Кроме того, нельзя упустить из внимания то любопытное обстоятельство, что к двадцатым годам нашего столетия вошел в стадию осознанного существования «индонезийский язык». То, как это произошло, настолько поучительно, что, видимо, заслуживает краткого отступления. Ранее уже говорилось, что управление ост-индскими территориями осуществлялось с помощью голландского языка лишь в очень ограниченной и незначительной степени. А разве могло быть иначе, если к тамошним своим завоеваниям голландцы приступили еще в начале XVII в., но до начала XX в. даже не предприняли серьезных попыток организовать изучение голландского языка для коренного населения? Вместо этого произошло медленное и по большей части непредусмотренное рождение странного государственного языка на базе древнего межостровного *lingua franca*[327]. Он получил название *dienstmaleisch* (возможно, «служебный малайский» или «административный малайский»). По типу он принадлежал к той же группе, что и «оттоманский» или «казенный немецкий», родившийся в многоязычных казармах империи Габсбургов[328]. К началу XIX в. он прочно закрепился в бюрократическом аппарате. Когда, начиная со второй половины XIX в., на сцену вышел во всей красе печатный капитализм, этот язык проник на рынок и в средства массовой информации. Если вначале им в основном пользовались китайские и евразийские газетчики и издатели, то в конце века его стали употреблять и коренные жители. *Dienst* [служебную] ветвь его фамильного древа вскоре забыли и заменили ее древним предком, существовавшим будто бы на островах Риау (важнейший среди которых с 1819 г. — возможно, к счастью для самого себя — стал британским Сингапуром). К 1928 г. этот язык, отшлифованный двумя поколениями городских писателей и читателей, был готов к тому, чтобы быть принятым Молодой Индонезией в качестве национального (националистического) языка *bahasa Indonesia* («бахаса индонесиа»). С тех пор он больше никогда не оглядывался в прошлое.

Тем не менее, индонезийский случай, сколь бы он ни был сам по себе интересен, не должен в конце концов привести нас к неверному заключению, что если бы Голландия была более крупной державой[329] и заявила сюда не в 1600 г., а в 1850, то национальным языком не мог бы стать в равной степени и голландский. Нет никаких оснований считать, что ганский национализм сколь-нибудь менее реален по сравнению с индонезийским просто потому, что его национальным языком является английский, а не ашанти. Всегда будет ошибкой трактовать языки так, как трактуют их некоторые националистические идеологии — а именно, как внешние символы национальности, стоящие в одном ряду с флагами, костюмами, народными танцами и прочим. Несоизмеримо важнее способность языка

генерировать воображаемые сообщества и выстраивать в итоге партикулярные солидарности. В конце концов, имперские языки — это все-таки национальные языки, а, стало быть, особые национальные языки среди многих. Если радикальный Мозамбик говорит по-португальски, то смысл этого заключается в том, что португальский язык является тем средством, с помощью которого Мозамбик представляется в воображении (и одновременно средством, ограничивающим его протяженность в сторону Танзании и Замбии). С этой точки зрения, употребление португальского языка в Мозамбике (или английского в Индии) по сути ничем не отличается от употребления английского в Австралии или португальского в Бразилии. Язык — это не инструмент исключения: каждый человек в принципе может овладеть каким угодно языком. Более того, язык по самой природе своей воссоединяет, и единственный предел этому воссоединению задается фатальностью Вавилона: никто не живет достаточно долго, чтобы освоить все языки. Печатный язык, а не партикулярный язык как таковой, изобретает национализм[330]. Единственный знак вопроса, который стоит в отношении таких языков, как португальский в Мозамбике и английский в Индии, это: могут ли административная и образовательная система, особенно последняя, породить достаточное с политической точки зрения распространение двуязычия? Тридцать лет назад почти не было индонезийцев, которые бы говорили на *bahasa Indonesia* как на своем родном языке; практически у каждого из них был свой собственный «этнический» язык, и лишь некоторые, особенно участники националистического движения, владели также *bahasa Indonesia/dienstmaleisch*. Сегодня, наверное, уже миллионы молодых индонезийцев из десятков этноязыковых сред говорят на индонезийском как своим родным языком.

Не ясно, сформируется ли через тридцать лет поколение мозамбикцев, говорящих только на мозамбикско-португальском. Однако сегодня, на исходе XX в., появление такого поколения уже не обязательно является *sine qua* поп мозамбикской национальной солидарности. Во-первых, прогресс технических средств коммуникации, особенно радио и телевидения, дает печати таких союзников, каких столетие назад у нее еще не было. Многоязычное вещание способно убедить своими чарами даже неграмотные народы и населения, говорящие на разных языках, в их воображаемой общности. (Здесь есть сходство с рождением в воображении христианского мира, которое происходило через визуальные репрезентации и двуязычное образованное сословие.) Во-вторых, национализмы XX в. имеют, как я доказывал, глубоко модульный характер. Они могут опираться и опираются на более чем полуторазековой человеческий опыт и три ранние модели национализма. Следовательно, националистические лидеры располагают возможностью сознательно внедрять гражданские и военные системы образования, скопированные с официальных национализмов, выборы, партийные организации и культурные торжества, скопированные с массовых национализмов Европы XIX в., и гражданско-республиканскую идею, впервые изобретенную Американами. Но прежде всего, сама идея «нации» прочно угнездилась ныне практически во всех печатных языках; а национальность стала практически неотделимой от политического сознания.

В мире, где всепреобладающей нормой стало национальное государство, все это означает, что теперь нации могут представляться в воображении и при отсутствии языковой общности — не в наивном духе *nosotros los Americanos*, а на основе общего осознания того, возможность чего доказала современная история[331]. В этом контексте представляется уместным, завершая главу, вновь вернуться в Европу и коротко рассмотреть нацию,

языковую разнородность которой столь часто использовали как дубину, предназначенную для побивания защитников языковых теорий национализма.

В 1891 г., в разгар юбилейных торжеств по случаю 600-й годовщины образования Конфедерации Швица, Обвальдена и Нидвальдена, швейцарское государство «постановило» считать 1291 г. датой «основания» Швейцарии[332]. Такое решение, ждать которого пришлось 600 лет, имеет ряд забавных сторон и уже само по себе предполагает, что швейцарский национализм характеризуется не древностью, а современностью. Хьюз берет на себя смелость и высказывает утверждение, что именно юбилейные торжества 1891 г. знаменуют рождение этого национализма, поясняя, что «в первой половине XIX в... проблема национальной государственности почти не обременяла просвещенные средние классы. Мадам де Сталь [1766–1817], Фюсли [1741–1825], Ангелика Кауфман [1741–1807], Сисмонди [1773–1842], Бенжамен Констан [1767–1830] — разве все они швейцарцы?»[333] Если напрашивается ответ «вряд ли», то значимость его определяется тем, что в первой половине XIX в. по всей Европе вокруг Швейцарии наблюдалось зарождение основанных на родном языке националистических движений, главную роль в которых играли «просвещенные средние классы» (так сказать, филологи + капиталисты). Отчего же в Швейцарию национализм пришел так поздно, и какие последствия имело это опоздание для ее окончательного формирования (в частности, для присущей ей тогда множественности «национальных языков»)?

В какой-то мере ответ кроется в молодости швейцарского государства, существование которого, как сухо замечает Хьюз, трудно проследить ранее 1813–1815 гг., «не погрешив так или иначе против истины»[334]. Он напоминает, что первое настоящее швейцарское гражданство, введение прямого избирательного права (для мужчин) и упразднение «внутренних» пошлинных и таможенных зон стали достижениями Гельветической Республики, которая была насильственно создана французской оккупацией 1798 г. Лишь в 1803 г., с присоединением Тичино, в государство влилась значительная масса населения, говорящего по-итальянски. И лишь в 1815 г. оно получило от мстительно настроенного в отношении Франции Священного союза густонаселенные франкоязычные области Вале, Женеву и Невшатель в обмен на нейтралитет и предельно консервативную конституцию[335]. Таким образом, сегодняшняя многоязычная Швейцария — продукт начала XIX в.[336]

Вторым фактором была отсталость страны (которая, в сочетании с ее угрюмой топографией и отсутствием полезных ископаемых, помогла ей уберечься от поглощения более могущественными соседями). Сегодня, наверное, уже нелегко вспомнить, что до второй мировой войны Швейцария была страной бедной, с уровнем жизни в половину ниже английского, да к тому еще целиком сельскохозяйственной. В 1850 г. в районах, которые можно было более или менее назвать городскими, проживало только 6 % населения, и еще в 1920 г. эта цифра не превышала 27,6 %[337]. На протяжении всего XIX в. подавляющее большинство населения составляло немобильное крестьянство (исключением был лишь традиционный экспорт доблестных молодых людей в наемные армии и папскую гвардию). Страна была отсталой не только в экономическом отношении, но и в политическом и культурном. «Старая Швейцария», территория которой оставалась неизменной с 1515 до 1803 гг. и большинство жителей которой говорили на том или ином из многочисленных

немецких говоров, находилась во власти неуклюжей коалиции кантональных аристократических олигархий. «Секретом долговечности Конфедерации была ее двойственная природа. Внешним врагам она противопоставляла достаточное единство населявших ее народов. Внутренним мятежам она противопоставляла достаточное единство олигархий. Если бунтовали крестьяне — а они делали это приблизительно три раза в столетие, — различия отбрасывались в сторону, и правительства других кантонов, как правило, предоставляли свою помощь, выступая часто, хотя и не всегда, на стороне своего коллеги-правителя»[338]. За исключением отсутствия монархических институтов, картина мало чем отличается от той, которая наблюдалась в бесчисленных мелких княжествах Священной Римской империи, последним причудливым реликтом которых является находящийся на восточной границе Швейцарии Лихтенштейн[339].

Примечательно, что еще в 1848 г., спустя почти два поколения после появления швейцарского государства, древние религиозные расколы в политическом отношении гораздо больше бросались в глаза, чем языковые. Весьма примечательно, что на территориях, неизменно считавшихся вотчиной католиков, протестантизм был противозаконен, тогда как на территориях, считавшихся протестантскими, вне закона был католицизм; и эти законы строго проводились в жизнь. (Язык был делом личного выбора и удобства.) Лишь после 1848 г. под влиянием происходивших по всей Европе революционных переворотов и общего распространения вернакуляризирующих национальных движений язык занял место религии, и страна была сегментирована на четко обозначенные языковые зоны. (Теперь уже религия стала делом личного выбора[340].)

И наконец, упорное сохранение — в такой маленькой стране — огромного множества подчас взаимно непонятных немецких идиолектов говорит о позднем пришествии в основные массы швейцарского крестьянского общества печатного капитализма и стандартизированного современного образования. Таким образом, Hochsprache (печатный немецкий) имел до совсем недавнего времени такой же государственно-языковой статус, как и *ärarisch deutsch* или *dienstmaleisch*. Кроме того, Хьюз отмечает, что сегодня от чиновников «высокого ранга» ожидается практическое владение двумя федеральными языками; при этом предполагается, что от их подчиненных не ожидается наличия такой компетентности. Косвенно на это указывает и Федеральная директива 1950 г., в которой подчеркивается, что «образованные немцы-швейцарцы безусловно должны владеть французским языком, так же, как и образованные итальянцы-швейцарцы»[341]. В итоге мы имеем ситуацию, по сути мало чем отличающуюся от мозамбикской — двуязычный политический класс, уютно устроившийся над разнообразием одноязычных населений, — но с одним-единственным отличием: «второй язык» — это язык могущественного соседа, а не прежнего колониального правителя.

Тем не менее, если принять во внимание, что в 1910 г. для почти 73 % населения родным языком был немецкий, для 22 % — французский, для 4 % — итальянский и для 1 % — романшский диалект ретороманского языка (за истекшие десятилетия эти пропорции вряд ли изменились), то нас, возможно, удивит, что во второй половине XIX в. — в эпоху официальных национализмов — здесь не было предпринято попыток германизации. До 1914 г. прогерманские симпатии, безусловно, были сильны. Границы между Германией и немецкой Швейцарией были предельно прозрачными. Товары и инвестиции, аристократы и

профессионалы довольно свободно пересекали их в обе стороны. Но, кроме того, Швейцария граничила с еще двумя ведущими европейскими державами, Францией и Италией, и политические риски германизации были очевидны. Юридическое равноправие немецкого, французского и итальянского языков было, таким образом, лицевой стороной медали швейцарского нейтралитета[342].

Все приведенные выше сведения указывают на то, что швейцарский национализм легче всего понять как часть «последней волны». Если Хьюз прав, датируя его рождения 1891 г., то он оказывается всего-то на десятилетие старше бирманского или индонезийского. Иначе говоря, он родился в тот период всемирной истории, когда нация становилась международной нормой, а национальность можно было «моделировать» гораздо более сложным способом, чем раньше. Если консервативная политическая и отсталая социально-экономическая структура Швейцарии «оттянула во времени» подъем национализма[343], то тот факт, что ее досовременные политические институты были нединастическими и немонархическими, помог избежать эксцессов официального национализма (сравните со случаем Сиам, рассмотренным в главе 6). И наконец, как и в приведенных примерах из Юго-Восточной Азии, появление швейцарского национализма в канун коммуникационной революции XX столетия сделало возможной и практичной такую «репрезентацию» воображаемого сообщества, для которой уже не требовалось языкового единообразия.

В заключение стоит, возможно, еще раз сформулировать общую идею этой главы. «Последняя волна» национализмов, большинство из которых возникло в колониальных территориях Азии и Африки, была по своему происхождению ответом на глобальный империализм нового стиля, ставший возможным благодаря достижениям промышленного капитализма. Как неподражаемо сказал об этом Маркс, «потребность в постоянно увеличивающемся сбыте продуктов гонит буржуазию по всему земному шару»[344]. Однако, кроме того, капитализм — не в последнюю очередь благодаря распространению печати — способствовал появлению в Европе массовых национализмов, базирующихся на родных языках, которые в разной степени подрывали вековой династический принцип и толкали к самонатурализации каждую династию, которая была в состоянии это сделать. Официальный национализм — спайка нового национального и старого династического принципов (Британская империя) — вел, в свою очередь, к появлению в находящихся за пределами Европы колониях того, что можно для удобства назвать «русификацией». Эта идеологическая тенденция прочно переплеталась с практическими нуждами. Империи конца XIX в. были слишком велики и широки, чтобы ими могла управлять горстка националов. Более того, объединив усилия с капитализмом, государство стало быстро умножать как в метрополиях, так и в колониях число своих функций. Соединившись, эти силы породили «русифицирующие» системы школьного образования, нацеленные помимо всего прочего на производство требуемых исполнительских кадров для государственных и корпоративных бюрократий. Эти централизованные и стандартизированные школьные системы создавали совершенно новые паломничества, «Римы» которых располагались, как правило, в разных колониальных столицах, ибо нации, скрытые в ядре этих империй, не могли допустить восхождения паломников в самую их сердцевину. Обычно, хотя далеко не

всегда, эти образовательные паломничества воспроизводились, или дублировались, в административной сфере. Совпадение конкретных образовательных и административных паломничеств создавало территориальную основу для новых «воображаемых сообществ», в которых коренное население могло в какой-то момент увидеть себя «национальным». Экспансия колониального государства, которое, так сказать, приглашало «коренных жителей» в школы и офисы, и колониального капитализма, который, образно говоря, изгонял их из тех залов заседаний, где принимались решения, привела к тому, что первым главным глашатаем колониального национализма стала бесконечно одинокая двуязычная интеллигенция, не связанная союзом с крепкой местной буржуазией.

Будучи, однако, интеллигенцией двуязычной и, прежде всего, интеллигенцией начала XX в., она в школьных классах и за их пределами имела доступ к тем моделям нации, национальности и национализма, которые выкристаллизовались из турбулентных и хаотичных опытов более чем вековой американской и европейской истории. Эти модели, в свою очередь, помогали придать форму тысячам рождающихся мечтаний. Уроки креольского, языкового и официального национализма, вступая в различные сочетания, копировались, адаптировались и совершенствовались. И наконец, пока капитализм со все более возрастающей скоростью преобразовывал средства физической и интеллектуальной коммуникации, интеллигенция стала находить способы, не прибегая к помощи печати, убедительно внушать веру в воображаемую общность не только неграмотным массам, но даже и грамотным массам, читающим на разных языках.

Версия #1

Зверобой создал 12 апреля 2025 23:26:35

Зверобой обновил 12 апреля 2025 23:27:49